

Иван Аксаков

**Мы молоды, еще очень
молоды**



Иван Сергеевич Аксаков

Мы молоды, еще очень молоды

«Да, нужен еще немалый запас терпения, но он необходимо нужен, требуется и любовью, и благоразумием для того, чтобы выждать пока наше русское общество поотрезвится, посозреет, поукрепнет, наконец, мыслью и духом, станет смотреть на вещи прямо, *простыми* глазами, а не все сквозь «либеральные», да «консервативные» или же иные, вздетые им на себя очки. На такое заключение наводит нас недавняя газетная полемика»

Иван Сергеевич Аксаков
Мы молоды, еще очень
молоды

Да, нужен еще немалый запас терпения, но Дон необходимо нужен, требуется и любовью, и благоразумием для того, чтобы выждать пока наше русское общество поотрезвится, посозреет, поукрепнет, наконец, мыслью и духом, станет смотреть на вещи прямо, *простыми* глазами, а не все сквозь «либеральные», да «консервативные» или же иные, вздетые им на себя очки. На такое заключение наводит нас недавняя газетная полемика. Очевидно, что теперь, при настоящем состоянии общества, почти никакой серьезный спор – ну хоть бы о реформах, об учреждениях наших – еще у нас невозможен. Почти никому нет дела до самого дела, до существа учреждений, а все только до клички их, до фасада: если фасад «либеральный» или учреждение таковым числится, то «чур его, чур», его уж и не тронь; и наоборот, скажут: «консервативное» – так уж для многого множества оно является как бы заколдованным. И что дико-винно: противники, перебрасываясь этими словно магическими словами, в которых заключается для каждой стороны весь ее критерий, даже и не входят в точное определение

их смысла. Казалось бы – какая нужда в подобной терминологии? Казалось бы – не о том должна быть забота: как кликать учреждение, «либеральным» или «консервативным», подходит ли оно под шаблон той или другой абстрактной теории, – а о том: отвечает ли оно требованиям высшей справедливости? Удовлетворяет ли насущным нуждам страны? Во благо ли народу или во вред? Ведь, пожалуй, очень «консервативно» не менять на теле кафтана, даром что человек из него уже вырос и кафтан рвется и лопают, – но кому же такой консерватизм на пользу? Оно, пожалуй, и очень «либерально» – внушать детям презрение к родительской власти, – либерально, но скверно; а уж никто не явил миру зрелища более нахального глумления над свободой человеческой, более возмутительной тирании над народными массами, как французский конвент или хоть нынешний французский парламент, то есть учреждения, за которыми официально и даже научно признается титул «либеральных» и которые, во имя либерализма, посягают на самую совесть народа, дубьем вгоняют ему в душу вместо

Евангелия – учение атеиста Поля Бера.

Но настанет же пора, и, может быть, даже не в слишком далеком будущем, когда прекратится в русской интеллигенции это «пленной мысли раздраженье», когда здравый смысл обретет себе наконец свободу и право гражданства, и эмансипируется общество из-под власти «жалких» и «хороших слов», суеверия доктрин и теорий, фетишизма «последних слов науки» и всех этих побрякушек и погремушек чужой, всегда у нас запоздалой моды, которыми оно еще и теперь подчас так кокетливо обвешивается и красуется, – точь-в-точь, как ачкоус или папуас Полинезии – стеклярусом и другими блестящими безделками, добытыми от заезжего европейца. Само собою разумеется, что при возможности подобного сравнения, хотя бы даже несколько преувеличенного, речь идет здесь не о какой-либо поре зрелости, в смысле зрелости и даже перезрелости западноевропейских обществ, – а просто еще о выходе из того периода детства, в котором, по правде сказать, при всей сравнительной скорости нашего исторического развития, часть русской интеллиген-

ции несколько замоторела. Еще молочные зубы не все у нас выпали. Но, слава Богу, начинают выпадать, и на этом-то мы и основываем высказанные нами розовые надежды. Ведь давно ли, всего года три, миновала эпоха графа Лорис-Меликова с «новыми веяниями» – а кажется, будто она уже потонула в глубокой дали времен, и общество в эти три года выросло до неузнаваемости. Может быть, мы ошибаемся, но нам сдается, что, если б даже не было ни малейших стеснений со стороны цензуры, едва ли бы стали опять возможны в наши дни речи вроде тех, что произносились в Новгородском земстве, или разглагольствия подобные тем, что печатались в «Тверском Вестнике». Едва ли бы даже, на полной воле, возобновили газеты теперь тот же ребячески наивный лепет о «правовом порядке», об европейских либеральных учреждениях и т. п., как в ту счастливую эпоху, когда люди тешились только тем, что *обвевались*, и не мудрствуя лукаво ласкали себя перезвоном либеральных колокольцев. Теперь, по крайней мере, стали уже несколько совеститься пустопорожности прежних формул и допускать уже,

в виде уступки, «необходимость применения к национальным и историческим особенностям нашего отечества» и т. д., в таком вкусе. И за то спасибо, и то уже шаг вперед!

В ту пору – давно ли?! – выдвинулся, было, не то министр, не то иной высокопоставленный администратор (теперь совсем стушевавшийся), который однажды своему подчиненному (нашему знакомому), отказывая в каком-то ходатайстве, счел нужным добавить: «Вы не подумайте, однако ж, что я не *либерал*»... Ну разве это не молочный зуб? Если б кто теперь вздумал сморозить такую фразу, она бы, вероятно, даже и сердце «Голоса» пронзила своею пошлостью, даже и он покраснел бы теперь до ушей, будь он жив. Но этот молочный зуб выпал. Правда, и по сей час еще встречаются в кое-каких газетах такие фразы: «мы, либеральная печать», «мы, прогрессисты», «интеллигенция»; но это лишь умирающие отголоски, свидетельствующие, что сим «интеллигентам» еще не дерет слух подобная банальность или что у них уже совсем загубела та спасительная чуткость, та способность иронии, которая так свойственна рус-

скому человеку и благодаря которой в русском обществе несравненно легче и скорее, чем в каком-либо ином, затаскивается и изнашивается, обращается в общее место все, что лишено серьезного внутреннего содержания, что легковесно, безкоренно и малоценно по своему существу.

Но бедное русское общество! Оно поистине требует более справедливого и беспристрастного к себе отношения. Если взять во внимание исторические условия нашего развития, то поневоле смолкает резкое слово осуждения и выступают во всей яркости добрые и даже доблестные заслуги русского общественного духа, — но вместе с тем с такою же ясностью выступает необходимость отрешиться от того самодовольства и самообольщения, которым отличается некоторая, и довольно значительная, часть нашей интеллигенции, почитающая себя чуть ли уже не на вершине зрелости. Эти исторические тяжкие условия лежат и в позднем выступлении нашем на арену всемирного общечеловеческого движения, и в нашем зависимом отношении к европейскому просвещению, и в самом том спосо-

бе, наконец, которым насаждалось у нас просвещение, формировалось и сложилось само наше общество.

Что мы молоды, очень еще молоды и долго еще будем молоды – это вне вопроса, да в этом нет ни беды, ни греха, ни даже недостатка, а напротив, при некотором, порой, неудобстве, в этом своего рода наше преимущество перед прочими европейскими народами. Это обстоятельство необходимо сознать и признать для того, чтоб не напускать, как это делают некоторые наши «умеренные либералы», на себя или на нашу интеллигенцию какую-то «собачью старость» и прививать к России искусственно, под видом прогресса, хворь чужой дряхлости. Мы молоды и как *народ*, несмотря на тысячелетие нашей государственной жизни (и в этом следует, кажется, видеть залог нашего долгоденствия), но еще более молоды, даже очень еще юны именно как *общество*, хотя, как мы уже сказали, зреем и развиваемся быстро, не по дням, а по часам (измеряя время, конечно, историческим масштабом). Сами мы этого, понятно, даже и не замечаем, по крайней мере не всегда, но

для старой Европы оно непременно ощути-
тельно. Оно и привлекает ее, и тревожит. «Вы
не можете себе и представить», говорил нам
однажды Боденштедт, известный талантливый
переводчик Пушкина и других русских
поэтов, «как *свежо* (frisch) еще у вас в России
слово (разумеется, литературное) и ваше от-
ношение к нему, и как это обстоятельство
бросается в глаза, чувствуется нашим братом,
западным европейцем». Оно и не мудрено.
Вспомним только, давно ли существует наша
литература, которою, конечно, во многих от-
ношениях мы можем даже гордиться. Ведь
еще семьдесят лет тому назад, стало быть в
начале *текущего* столетия, признано было
нужным основать в Москве при Император-
ском университете «Общество любителей рос-
сийской словесности», потому что в ту пору
таковые любители были еще все наперечет и
нуждались во взаимном ободрении и поощ-
рении; потому что написать даже четверости-
шие к Клариссе или Лаисе было тогда еще де-
лом, заслугою, и председатель Общества
Мерзляков мог еще говорить в торжествен-
ной речи «о зефирах и фавнах, вьющихся на

поле российской словесности»! Несмотря на целый ряд замечательнейших писателей, явившихся в это семидесятилетие, опытный современный литератор по одной конструкции русской фразы сумеет определить ее *возраст*, отличить речь 20-х годов от речи годов 30-х, и последнюю от речи, начавшей слагаться к 40-м годам, когда строй ее стал зреее и устойчивее, а после 40-х годов сумеет обозначать время уже не по конструкции фразы, а по новым вторгающимся или пущенным в оборот выражениям.

Тот, чьи воспоминания обнимают весь этот 40-летний период, может даже указать: откуда пошло гулять или кем впервые двинуто в ход такое-то слово... Каждый из современных стариков, приступая к составлению своих записок и бросая ретроспективный взгляд на пережитую им пору, конечно придет к убеждению, что она не может быть верно понята и оценена, если не иметь в виду как выдающуюся черту именно нашу *общественную* молодость, в смысле еще формации и сложения. Не личную молодость разумеем мы здесь. Если бы, например, Гладстон взду-

мал написать свои воспоминания за полвека, он, конечно, отвел бы надлежащее место молодости своей и своих сверстников с минуты их вступления в общественную жизнь, но английское общество к этой поре уже было обществом зрелым, сложившимся (что еще вовсе не означает неподвижности и не исключает дальнейшего развития). У нас не то. Вспоминая *свои* молодые годы, мы вспоминаем еще вместе с тем даже не молодые, а как бы школьные, детские или отроческие годы самого русского общества. Конечно, это относится к отжитому уже времени, но, как мы заметили выше, период детства, даже период молочных зубов и хрящеватого темени, не совсем еще миновал для нас и теперь. Еще понятнее станет эта наша мысль по сравнению. Русский образованный человек ощущает себя старее, значительно старее, чуть даже не стариком, как скоро попадает, например, в среду балканских славян, черногорцев, герцеговинцев, сербов, — даже в самую среду «интеллигенции». Те еще моложе, хотя бы даже были учениками и даже последователями Гексли или Гартмана, потому что у них нет ни наше-

го опыта многовековой государственной жизни, ни богатой литературы; искусство вообще стоит еще на степени как бы лубочных картинок, а самые страны или массы народные едва-едва только вылезают из эпоса. В том-то и дело, что волею исторических судеб (в которой мы не виноваты, на которую и роптать нечего) закон развития у нас со славянами иной, чем у западных европейцев. Западному европейцу нужны чуть не Мафусаиловы лета, чтоб достичь воспоминаниями до эпического периода. Этот период прегражден от современности длиннейшим рядом веков, обусловившим медленный, долгий процесс цивилизации и культуры.

Представьте же себе положение, когда эпический период сшибается вдруг лоб об лоб с европейской культурой XIX столетия (причем оба несомненно несколько сплющиваются) и когда ученик Гексли, последователь Дарвина и последних слов науки, в самых своих *личных* воспоминаниях находит ни более ни менее как целый мир эпоса, — мир властный, еще живой, с которым сей дарвинист, позитивист, материалист, сын XIX века, находится в

непосредственной, почти физиологической, кровной связи! Положение истинно трагическое, едва ли даже удобопостижимое для западного европейца! Ведь это уж настоящий *salto mortale*, это такой смелый *ракурс*, который мыслим разве лишь в живописи, да еще при величайшем искусстве, но в области умственного и психического развития может быть, по-видимому, только разрушителен для народного организма. Крепкий, могущественный потребен организм для того, чтоб, упразднив дело веков, все вдруг, залпом воспринятое переварит в свою кровь и плоть и вызвать затем в себе силу самостоятельного нового творчества!

Что будет со славянами Балканского полуострова, мы не знаем, но таковым крепким, могущественным народным организмом несомненно обладает Россия. Это убеждение утешительно, исполняет нас надежды и веры, но необходимо, однако ж, помнить и соображать – какая работа задана нашему народному организму, – помнить и соображать хоть бы для того, чтоб не смущаться иными явлениями, уметь беспристрастно ценить наше

прошлое и настоящее. Карикатурным, пожалуй, покажется читателям такое приравнение к настоящему состоянию нашей интеллигенции – сербского противоестественного сочетания, в одном интеллигентном индивидууме, эпической и героической эпохи с современной культурною, да еще наиутонченною... Но ведь только карикатурным, то есть преувеличенным «шаржированным», однако все же довольно близким, а уж про наш XVIII век и говорить нечего. Разве не то же почти самое представляют нам блестящие вельможи двора Екатерины, наши Разумовские, которых эпопея восприняла такой печальный, но вполне достойный конец (см. превосходный труд А. А. Васильчикова), наши потом, уже позднее, Бруты, Лафайеты, Фабриции – на почве и в оправе самого беззастенчивого крепостного душевладельчества? Да, наконец, и теперь, в позднейшие дни, разве наши «радикалы» – сопоставленные с русским народом и с историческим фоном русской земли, многим чем разнятся от гегельянцев, дарвинистов, гекслистов Балканских ущелий, берегов Савы и Дравы?

Крепок наш организм, — но еще много, много тяжкого труда ему предстоит для того, чтобы отправления его стали наконец свободны и правильны. Нам помогает необыкновенная восприимчивость и талантливость русской натуры, полнейшая обеспеченность нашего внешнего политического положения, инстинктивное чувство своей национальной мощи, непосредственное сознание себя великим мировым народом, наконец, самый наш внешний простор, оказывающий несомненное воздействие и на духовную нашу природу, чуждую мелочности и узкости. Но этот же наш простор и объем, эта «дистанция огромного размера» и в физическом, и в нравственном смысле, этот самый громадный объем русского народного организма полагают нашему развитию и преграды соответственного же масштаба! Великий Петр, разбитый под Нарвой, чрез несколько дней, своим новорожденным, так сказать, войском, только что сформированным согласно с требованиями современного европейского искусства, разбивает под Полтавой первого полководца и лучшую европейскую армию своей эпохи и пьет

за здоровье своих учителей, им побитых и превзойденных. Это, может, и должно, конечно, служить образцом и для прочих отраслей нашего воспитания и развития, но нам, однако, и до сих пор еще не пришлось пить, попетровски, за здоровье наших учителей на иных крупных поприщах, кроме военного. Это объясняется более всего тем, что главным материалом в военном деле служит простой народ, вполне дисциплинированный тысячетлетнею тяжкою историческою школою, и что доблестные свойства национального духа могли найти тут себе довольно свободное выражение. Но совсем иначе происходило дело там, где материалом служил класс, так называемый интеллигентный, где приходилось пускать в ход орудия мысли и знания, действие умственное. Как ни шибки были наши успехи сравнительно с долгим, длинным процессом европейского развития, но здесь, оказывается, мы все еще не выкарабкались вполне даже из школьников-учеников.

Правда, в области поэзии и вообще искусства русский гений, в лице Пушкина и иных великих наших поэтов, романистов и худож-

ников, сумел вознестись до самобытной красоты творчества и своими откровениями бесспорно ускорил процесс нашего развития и самосознания. Им мы и обязаны *относительно* быстротой нашего роста, но не могло же действие их *пронять* сразу весь наш общественный или интеллигентный материал. Во-первых, истинно *передовые* люди потому и передовые, что озаряют путь далеко вперед, а не назад и даже не окрест, во-вторых, как бы ни был высоко одарен и просвещен, в своей стране, отдельный человек, как бы ни превознесся по-видимому над уровнем своего общества, – он, как бы по некоторому закону тяготения, все-таки не может постоянно носиться *над* ним, все-таки не может вполне отрешиться от воздействия на себя закона времени и места. Это воздействие может сказываться и хорошими, и слабыми своими сторонами. Хорошую сторону мы видим именно в той мужественной молодости, которою и иностранцы любят в наших писателях и даже немногих мыслителях, – в том вечном устремлении взора в будущее, в том духе пророчества, в той вере в Россию, что все отража-

ет в себе, вольно и невольно, русская поэзия и даже русская мысль (см. ниже статью: «Наука и поэзия»). О худой стороне и говорить нечего: она сокращала и сдерживала порою полет русского гения, который нередко и изнемогал в борьбе с нею. Во всяком случае гениальные люди сами по себе, а рост целого общества сам по себе. Пушкин – наша гордость и слава – произнес в свое время резкий приговор русскому обществу, выразившись, что от просвещения нам осталось только *жеманство* и

*Что русский ум и русский дух
Зады твердит и лжет за двух!*

Приговор строгий, но меткий, не утративший свою силу и до сих пор. Большая часть нашей интеллигенции и доселе твердит, как и подобает ученикам-школьникам, только *зады* европейской мысли и знания, под видом «последних слов науки», давно на своей родине переставших быть последними. Такое повторение *задов*, такое вечное нахождение *позади* – конечно, участь печальная; с нею можно еще мириться как с временною горькою необходимостью, но у нас имеются люди, да-

же целый разряд интеллигенции, который нашел возможным именно ею-то и хвалиться, который никакой другой будущности для России и не желает, только в *задах* и видит для нее спасение, неистовствует против малейшего посягательства русского духа на «самобытность». Многие университетские профессора поставили себе, кажется, специальной задачей – лишить русских авторов всякого права на оригинальность (г. Веселовский) и пользуются модным теперь «сравнительным методом», не для того чтоб с его помощью выяснить точнее отличие русского народного творчества, русской истории, русского быта от творчества, истории и быта других народов, а для того чтоб доказать в русском народе отсутствие всяких самостоятельных особенностей и осудить его только на заимствование и подражание, только на повторение чужих *задов*, даже (и преимущественно) в области внутреннего политического развития... С таким направлением и сама русская наука долго еще твердить *зады* не перестанет!

«Лжет за двух», – говорит Пушкин. Именно

так, и именно за двух. Когда русский интеллигент повторяет зады чужой мысли и жизни, то, сохраняя по отношению к Европе смирение рабского ученика, он для русского общества становится учителем и проповедником назойливым, грозным, лжет и за себя, лжет и за Европу. За себя – в том смысле, что усваивает себе или своему русскому обществу чужое убеждение, чужое мерило, продукт чужой истории, чужих нравов; за Европу – потому что ученую ее гипотезу выдает уже за научную аксиому, случайное, преходящее мнение или явление на Западе возводит в крайнее слово знания или жизни, обобщает частные факты, искажает смысл возникающих там задач, и вопросы, еще не решенные там, – сразу решает, во имя «европейского прогресса», для своего отечества! В результате – действительно сугубая ложь, – тем более грубая и злая, что она у нас из области слова способна нередко переходить и в практику – с быстротою необычайною. Эта быстрота объясняется именно тем, что всякая новая, перенесенная таким образом к нам мысль имеет дело и в жизни большею частью не с самостоятельно

воспитанными, зрелыми умами, а с учениками-школьниками, с общественной средой, более или менее отчужденную от своей народности и истории, не представляющую никаких серьезных преград для нашествия абстрактных, совсем несвойственных русской жизни и даже прямо враждебных ее духу идей и затей, а иногда и реформ... От этого (впрочем, и от некоторых других причин, о которых скажем ниже) торжество, господство этих прошлых идей принимает у нас совершенно особый, нигде не виданный характер повальности, характер поветрия, разом охватывающего массы умов, как-то стадообразно, – причем индивидуальная самостоятельность убеждения совершенно ступшевывается.

Возьмем так называемый «дух времени», пред которым большинство нашей интеллигенции так безусловно благоговеет. Дух времени там, у себя на родине, в Западной Европе, как и всякий дух, возникает и проявляется свободно, – не предъявляя никакого ярлыка с надписью, не рекомендуясь: «честь имею представиться, я – дух времени». Он опознается таковым уже впоследствии, по результа-

там, – начинает обыкновенно веянием едва заметным, проникающим в душу сначала немногих, потом несколько большего числа и т. д.; его проявление, его действие бывает большею частью очень медленно, хотя и прочно. Да и не всякое веяние есть уже непременно «дух времени». У нас на этот счет не строги. Нам «дух времени» доставляется с Запада при самом первом дуновении вместе с самыми модными товарными новинками, как бы какой закупоренный в склянке Es-bouquet, одним словом как духи. Не успеешь оглянуться, как сотни, тысячи субъектов, да вдруг, разом, успели этим «духом времени» надушиться, тогда как на Западе им обвеяны только еще *несколько* избранных. Но ведь на Западе ему, бедному, приходится считаться с историей, с установившимся общественным бытом, нравами, а ведь у нас и для нас это все «пустяки-с», «предрассудки», трын-трава! Во Франции, например, появилась Жорж Занд, произвела, как и понятно, сильное впечатление: возбуждился «женский вопрос», имеющий там полное *raison d'etre* – ввиду законов о женских имущественных и семейных правах,

ее общественного местного положения и т. д. У нас, ни с того ни с сего, мигом появились полчища жоржзандисток. Мы знавали многих, которые, отправляясь из России в Париж, на родину «женского вопроса», думали, что Париж кишит жоржзандистками, да так и возвратились, не встретив ни одной ни в Париже, да и нигде в Европе! Во Франции, стоящей, как известно, «во главе цивилизации» и т. д., вопрос даже о гражданской (не о политической) полноправности женщин до сих пор не решен, – но все это и до сих пор не вразумляет наших взрослых детей!.. Очень бы затруднился тот, кто вздумал бы серьезно составлять историю «женского вопроса» в России, потому что, по правде говоря, у него и истории никакой нет, а он свалился к нам прямо готовый, как с неба, – но о нем мы когда-нибудь поговорим особо, – мы хотели только указать на «повальность» господства идей как на характерную черту нашего общественного развития.

Эта черта объясняется, впрочем, и некоторыми историческими условиями.

Наше настоящее общество ведь все – пет-

ровской формации. Вся наша интеллигенция выгнана хоть и из русской народной почвы, но сдобренной и постоянно сдабриваемой, на казенные же деньги выписываемым наземом, – в казенных парниках, казенными садовниками. Вся она предназначалась для казенной надобности. Просвещение, прогресс стали у нас, к началу XVIII века, исторической государственною необходимостью. Это прежде всего поняла у нас казна, которая, хоть и сама в то время смыслила в просвещении немного, воодушевилась однако самою искреннею к нему ревностью и именно к «высшему», потому что в высшем-то наиболее и ощущала потребность. Вот и стала казна, не жалея ни денег, ни поощрений, искусственно и насильственно, насаждать у нас просвещение «высшее», сразу, помимо среднего и элементарного (о чем серьезно вспомнили уже гораздо позднее). Казна взяла в свое ведение науку, подстегивала прогресс, и действительно устроила наконец в обществе такой склад жизни, что все юношество, как бы исполняя некий обряд, потянулось к «высшему» (по преимуществу университетскому) об-

разованию, хотя и подготавливалось к нему – учась, по выражению Пушкина, «понемногу, чему-нибудь и как-нибудь». Таким образом, в длинном преемственном ряде поколений воспиталось и приобщилось русское общество «высшего» просвещения – в казенных заведениях, почти даром, то есть на казенный счет, по преемственно менявшемуся чуть не для каждого поколения шаблону (чем в значительной степени и объясняется однородность и повальность воспринимаемого направления). Мало того: каждый интеллигентный смертный прошел хоть сколько-нибудь по таблице о рангах, перебивал в каком-либо чине (а уж «губернского секретаря» никто, конечно, не миновал), каждый состоял на службе, на казенном жалованьи, был где-нибудь да приписан, где-нибудь числился. На лоне у казны раздался первый лепет нашей интеллигенции, и первые зубы ее вырезались; на лоне у казны она и подрастала, и развивалась, выучилась и усердствовать, и вольнодумничать, и либеральничать... Все учила казна, что только выдавалось ей за высший прогресс. Это истинная мать нашей жесто-

косердой и неблагодарной интеллигенции. Одно высокопоставленное лицо проектировало даже проект о раздаче орденов «за независимость мнений»...

Ничего подобного никогда не было ни в одной стране, – разве только теперь в Японии. Само собою, органически, вольно, хотя и не без содействия государства, насаждалось просвещение на Западе, – и не скачком прямо в «высшее», напротив, строгая подготовка служила последнему существенным основанием. Это форсированное, оранжерейное или парниковое возвращение «высшего» просвещения досталось в удел только нашему отечеству. Что же и вышло в результате? Во-первых, неудержимое, даже и теперь, стремление общества к приобретению «высшего» образования – с явным пренебрежением и даже отвращением к *серьезному среднему* образованию, – каковое отвращение получило у нас даже заманчивую либеральную окраску! Далее: стремление к получению образования дарового, то есть на казенный счет и соединенного с значительными привилегиями. И опять странность: такому именно стремле-

нию и покровительствуют наши «либералы» или «западники», даже в противность тому, что в «либеральных» государствах Европы ничего подобного не существует.

Но довольно... Так вот каковы внутренние составные элементы нашего общества, вот при каких тяжких противоестественных условиях насаждалось у нас просвещение, слагалась и воспитывалась наша интеллигенция! Но процесс этого сложения, равно как и формации самого русского общества, еще не окончен, как не совсем еще миновал и период наших школьных годов. Можно ли, после того, дивиться нашей невзрачной современности или же ставить в вину нашей интеллигенции: зачем она именно такая, а не иная? Тут нет ничьей личной вины, а потому и необходимо, одновременно с строгой оценкой, относиться к нашей интеллигенции с возможно терпеливым снисхождением, возлагая надежды на спасительную работу времени. Прежде же всего необходимо, как говорится, «возвести факт в сознание», дабы поубавить в нас самонадеянности и чванства, и не утруждать новыми непомерными задача-

ми национального организма. Кроме выпавшей на его долю поистине чудовищно трудной работы: сократить до минимума органический медленный процесс общественного развития страны, такого громадного объема и населения как наша, ему предстоит еще оправиться от тех героических способов лечения, которые (и конечно не совсем без успеха) были применены преобразователем России к искоренению заматерелого недуга невежества и восточной косности. Ему предстоит еще, духовно-химическим, так сказать, процессом, парализовать или поглотить воспринятые им яды, претворить противоестественное в естественное, насильственное в свободное и явить, наконец, здоровое творчество национального духа. Ввиду же современного нашего состояния, ввиду того господства разных абстрактных доктрин, которое еще недавно так ширилось не только в нашем обществе, но и в администрации, ввиду *парниковых* или *оранжерейных* свойств ума и знания в нашей интеллигенции (как вольной, частной, так и участвующей в управлении государством), нельзя не благодарить судьбу за то, что ника-

кие до сих пор эксперименты не исказили внутреннего духовного существа нашего простого народа. Как мы его ни кувыркали, он как *ванька-встанька* вставал снова и удерживал свое прежнее положение. Страшно и подумать, что было бы с Россией, если б какой благодетель поступил с нею так же, как поступили мы с несчастными болгарами, братоубийственно наделив их европейскою конституцией и парламентом!..

Наша теперь главная беда именно в парниковых и оранжерейных свойствах русской интеллигенции. Вот на что следовало бы обратить особое внимание, ибо при таковых свойствах самое благонамеренное правительство лишено надлежащих орудий действия. И велик русский Бог! Благодаря некоторой свободе печати, давшей возможность высказаться нашему «либерализму», он в значительной степени испарился, опошлел, обличился в своей пусто-порожности и непригодности. Но важнее и утешительнее то, что в подрастающем поколении замечается уже отвращение от громких, бессодержательных фраз, от бесплодного политиканства, от голых формул и

празднх фикций; замечается даже стремление, по крайней мере в тех, кто имеет к тому возможность удалиться в уезд, в деревню, — не с тем, чтоб проповедовать там нечто во вкусе г. Артемия Введенского или разыгрывать роль героев г. Эртеля и других «народников-беллетристов» (какое уродливое сочетание слов!), а с тем, чтоб посвятить себя сельскому хозяйству и скромной местной деятельности, по земству ли или по мировому суду, в уезде. Ввиду той пассивной *повальности*, о которой мы говорили выше, желательно было бы содействовать воспитанию в русском обществе *личного деятельного начала*, личного почина, и не пренебрегать поэтому тою формою личной деятельности, которую сама история уготовила нам в *личном землевладении*, а всячески поощрять и развивать ее. Сопоставление нашей *парниковой* интеллигенции лицом к лицу с жизнью самой земли, привлечение образованных личных землевладельцев к пребыванию в деревне, это сожителство образованных людей с селом, с народом не замедлит оплодотворить и интеллигенцию, и самый народ новою, живитель-

ною силою. В селе, а не в городе наше спасение, – и от правильного развития жизни и деятельности в уезде зависит благоуспехание нашего государства несравненно более, чем от всевозможных министерств и внешних государственных учреждений – если жизнь уездная совсем оскудеет.